**Власть как концепт и категория дискурса**

Шейгал Е.

Проблема соотношения языка и власти имеет два аспекта:

1) то, как власть осмысляется, концептуализируется языком (власть как концепт);

2) то, как власть проявляется в языке / через язык (власть как дискурсивная категория).

Концепт как ментальная репрезентация культурно-значимого феномена в массовом сознании фиксируется в лексикографических толкованиях имени концепта (содержательный минимум концепта), в его синонимических связях, образных переосмыслениях, ассоциативных реакциях, сочетаемости, паремиологии и неклишированных текстах и высказываниях. По данным «Словаря индоевропейских социальных терминов» Э. Бенвениста, семантика некоторых ключевых слов, связанных с понятием «власть» в индоевропейских языках, формировалась на базе следующих генетически исходных смыслов: «праведность», «магическая сущность власти», «сила», «превосходство», говорение» [ Бенвенист 1995 ] . Смысловая ассоциация «власть – говорение» представляет особый интерес для нашего исследования, поскольку одним из наиболее ярких дискурсивных проявлений власти, как будет показано ниже, является монополия на информацию и право на речь.

Анализ понятийного ядра концепта «Власть» по толковым и терминологическим словарям выявил такие его базовые составляющие, как «господство (доминирование), право, контроль (способность контролировать), сила, влияние, принуждение, авторитет». Мы полагаем, что, все эти компоненты концепта обладают коммуникативной значимостью и составляют суть власти как дискурсивной категории.

Власть в дискурсе может выступать в различных ипостасях: как содержательная, когнитивная, социолингвистическая, риторическая и прагматическая категория. Власть как содержательная категория составляет предмет общения, тему разговора и в этом плане данная категория выступает как проявление языковой концептуализации власти. Концепт «власть» как объект рефлексии оказывается весьма значимым для политического дискурса. Власть, как в абстрактном смысле, так и в значении «конкретные представители власти» нередко выступает в качестве объекта осмысления, интерпретации и критики. Высказывания о власти, принадлежащие современным российским политикам и политологам, сводятся, в основном к двум группам:

а) Высказывания формульного типа ( Власть – это …), в которых делается попытка нетрадиционного подхода к раскрытию содержание понятия «власть».

Мое отношение к власти определяется двумя ключевыми словами. Слово №1 – ответственность... И второе: для меня власть – инструмент, которым обязан уметь пользоваться человек, деятельность которого связана с использованием власти для достижения цели (А. Чубайс).

Кстати, существует формула эффективной власти, сочиненная одним из, прошу прощения за грубое слово, реформаторов. Причем еще до старта реформ. Звучит она так: «Свободный рынок плюс сильная полиция» (А. Колесников).

б) Критические высказывания, в которых выражается недовольство властью и имплицитно содержится представление о том, какой должна быть хорошая власть:

Твердо убежден, что власть, особенно исполнительная, оторвалась от народа. Во властные структуры проникло много нечестных и нечистоплотных людей, ставящих личные интересы выше интересов государства. Власть оказалась бесконтрольной и безотчетной перед народом (В. Илюхин).

Нужна сильная власть! Настоящая власть. Жесткая исполнительная вертикаль во главе с президентом (В. Жириновский).

Верхам настолько наплевать на низы, верхи настолько ничего не хотят, что низы «не хотят» с удвоенной энергией. Равнодушие власти превратило «дорогих россиян» в самый равнодушный к этой власти народ в мире. Власть проносится мимо «селян» по Рублево-Успенскому шоссе на большой скорости, сверкая мигалками и поражая зрение размерами кортежа. Иногда ее замечают в правительственной ложе на значимых футбольных матчах. Это способ единения с народом, правда, единения ложного (А. Колесников).

Кто-то из умных людей недавно сказал с телеэкрана: они там, наверху всех нас считают за идиотов. Это властная болезнь, давняя как мир. Еще Мао исходил из конфуцианского представления о власти-ветре и народе-траве. ТВ с самого рождения у нас стало этаким мощным вентилятором, которым власть старается нас пригнуть как надо (В. Кичин).

Приведенные высказывания позволяют суммировать представления политиков о своеобразном «кодексе чести» для представителей власти: власть не должна отрываться от народа, должна уважать народ и жить его интересами, быть честной, чистоплотной, не продажной, подконтрольной народу, иметь прочные нравственные устои, быть сильной, дееспособной, ответственной, уметь гибко реагировать на изменение политической ситуации. Власть не должна быть равнодушной к проблемам народа, не должна пренебрегать народом и относиться к нему снисходительно, не должна демонстративно пользоваться привилегиями, не должна воровать и жировать на народные деньги.

Власть как когнитивная категория представляет собой то, что иначе формулируется как «власть языка» – способность языка навязывать мировидение, создавать языковую интерпретацию картины мира («кто называет вещи, тот овладевает ими»). Д. Болинджер, анализируя язык политической лжи, отмечает особую роль номинаций в создании нужной для определенной стороны картины мира, иллюстрируя ее примерами политических эвфемизмов: «...бомбардировки становятся «защитной реакцией», особо точные бомбардировки – «хирургическими ударами», разбомбленный дом автоматически становится «военным объектом», а ничего из себя не представляющая джонка, затонувшая в порту, – «морским транспортом» [Bolinger 1980: 36].

Уже сам факт наименования вещи или явления является одновременно фактом классификации (категоризации, отнесения к категории), а власть, скрытая в языке, как считает Р. Барт, связана прежде всего с тем, что «язык – это средство классификации и что всякая классификация есть способ подавления: латинское слово ordo имеет два значения – «порядок» и «угроза». [Барт 1994: 548 ]. Навешивание ярлыков, активное вмешательство в процесс именования, столь характерное для политиков «во власти», является попыткой воздействовать на существующую в сознании электората картину мира политики, на его когнитивную базу в области политической коммуникации. «Язык активно используется властью как средство ограничивающего (рестриктивного) воздействия. Он может восприниматься властью как самостоятельный рестриктивный механизм, требующий постоянного вмешательства и контроля. Это, в частности, реализуется в именовании, в отстаивании определенных названий, переименовании, творении новых имен и т.д.» [ Апресян 1997: 135] . Говоря о классификации как средстве контроля при помощи языка над тем, как общество воспринимает действительность, Г. Кресс и Р. Ходж отмечают, что подобные классификации, как правило, имеют групповую основу, отражая социальную дифференциацию общества: «Общность языка всегда выступала как мощное средство групповой солидарности» [Hodge, Kress,1979: 64].

При сознательном использовании языка как инструмента, позволяющего воздействовать на существующую в сознании социума картину мира, власть выступает как риторическая категория , связанная со стратегиями фасцинативности, манипуляции и пр. Язык в данном случае сознательно используется как средство воздействия для достижения определенного перлокутивного эффекта; это особенно ярко проявляется в таких сферах коммуникации, как реклама, пропаганда и т.п. Данный аспект дискурсивного проявления власти изучается теорией речевого воздействия.

Власть как социолингвистическая категория тесно связана с категорией социального статуса и выступает как проявление в общении социальной власти участника коммуникации с более высоким социальным статусом. Так, в частности, в речевых особенностях образованных людей, профессионалов (юристы, врачи, профессора и т.п.) проявляется механизм оказания социального давления и осуществления власти. Характерной чертой данного механизма является интенсивное использование профессиональной терминологии и жаргона в общении с непосвященными, обращение к усложненным синтаксическим структурам затемняющим понимание. Получаемое вследствие этого коммуникативное преимущество позволяет, по мнению Р. Фаулера, поддерживать «властный дифференциал» между разными социальными группами (например, юрист и рабочий) [Fowler 1985].

Власть как прагматическая категория связана с интенциональным аспектом общения в институциональных типах дискурса. Власть выступает как базовая интенция политического дискурса, как его интенциональная основа, предопределяющая его основные функции: интеграция и дифференциация групповых агентов политики, развитие конфликта и установление консенсуса, осуществление вербальных политических действий и информирование о них, создание «языковой реальности» поля политики и ее интерпретация, манипуляция сознанием и контроль за действиями политиков и электората.

Борьба за власть как цель политики определяет содержание политической коммуникации, которое можно свести к трем основным составляющим: формулировка и разъяснение политической позиции (ориентация), поиск и сплочение сторонников (интеграция), борьба с противником (агональность). Отсюда следует, что основным организующим принципом семиотического пространства политического дискурса, его семиотической моделью является базовая семиотическая триада «интеграция – ориентация – агональность». Соответственно, в семиотическом пространстве политического дискурса разграничиваются три типа знаков: знаки ориентации, интеграции и агональности.

В каждом из трех функциональных типов знаков имеются специализированные и транспонированные единицы. Специализированными знаками ориентации являются наименования политических институтов и институциональных ролей, имена политиков и т.д., специализированными знаками интеграции – государственные символы и эмблемы, выражающие групповую идентичность, лексемы единения и совместности, специализированными знаками агрессии – маркеры «чуждости». Границы между тремя функциональными типами знаков не являются жестко фиксированными. Эволюция прагматики знаков делает возможным семиотическое преобразование одного типа в другой. Основным направлением этой эволюции является движение от информатики к фатике, т. е. превращение знаков ориентации либо в знаки интеграции (приобретение идеологической коннотации «свои» и положительной эмотивности), либо в знаки агрессии (приобретение идеологической коннотации «чужие» и отрицательной эмотивности).

Базовая семиотическая триада политического дискурса находит выражение в специфических речевых актах этого дискурса: в частности, функциональной направленностью здравиц является интеграция, лозунговых ассертивов – ориентация, волитивов изгнания – агональность (агрессия).

Относительно базовой семиотической триады структурируется и жанровое пространство политического дискурса. По характеру ведущей интенции разграничиваются: а) ритуальные жанры (инаугурационная речь, юбилейная речь, традиционное радиообращение), в которых доминирует фатика интеграции; б) ориентационные жанры, представляющие собой тексты информационно-прескриптивного характера (партийная программа, манифест, конституция, послание президента о положении в стране, отчетный доклад, указ, соглашение); в) агональные жанры (лозунг, рекламная речь, предвыборные дебаты, парламентские дебаты).

Поскольку всякая власть создает свою речевую практику, играет в свою «языковую игру» (термин Л. Витгенштейна), то для изучения политического дискурса актуальным является анализ «языка власти» или «дискурса власти».

О языке власти можно говорить в рамках противопоставления «политическая элита – народ», или «политики у власти – политики в оппозиции». Именно противопоставление дискурсов групповых субъектов политического дискурса позволяет вывить базу знаний и базу целей, лежащих в основе создаваемых ими парадигмы текстов, образующих их дискурс. Так, в работе Э. Лассан выявляются следующие параметры противопоставления языковой личности дискурса власти и дискурса советского инакомыслия 1960-х гг.: прагматикон, тезаурус и грамматикон. Прагматикон языковой личности дискурса власти представлен такими ценностными оппозициями понятий, как коммунизм « антикоммунизм, патриотизм « антипатриотизм, коллективизм « индивидуализм и т.п.; ее тезаурус представлен концептуальными метафорами типа мир – фронт борьбы между коммунизмом и антикоммунизмом, Родина – мать, коллективизм – норма жизни и пр. Прагматикон языковой личности дискурса инакомыслия включает в себя такие ценностные оппозиции, как истинный патриотизм « ложный патриотизм, законность « беззаконие, гуманизм « антигуманность и т.п.; ее тезаурус представлен концептуальными метафорами: Родина – близкий человек, который может болеть, гуманизм – это милость к падшим, и т.п. В итоге выявляется когнитивный конфликт в вопросе трактовки таких понятий, как патриотизм, законность и гуманизм, составляющий суть полемики – диалога дискурсов власти и оппозиции [Лассан 1995] .

Существуют разные точки зрения на проблему соотношения языка власти и власти языка.

С одной стороны, права Р. Водак, утверждая, что «язык обретает власть только тогда, когда им пользуются люди, обладающие властью; сам по себе язык не имеет власти» [ Водак 1997: 19 ] . Но, с другой стороны и сам язык предоставляет говорящим целый арсенал средств проявления и осуществления власти. Каждый из аспектов дискурсивной власти имеет свои способы и средства реализации: это могут быть те или иные языковые единицы, стилистические средства, речевые акты, коммуникативные ходы, речевые жанры.

Как показал анализ соответствующего концепта, феномен власти самым тесным образом связан с принуждением. Власть определяется как возможность навязывания своей воли другим, вопреки сопротивлению, как право коллективного агента накладывать обязательства и принуждать к действиям. В коммуникативном плане власть проявляется в способности заставить других принять выгодную для говорящего интерпретацию действительности, т. е. в принуждении к точке зрения.

Дискурсивное выражение власти рассматривается как часть общецивилизационного процесса: эволюция стратегии власти заключается в том, что власть начинает опираться не столько на телесное принуждение и наказание, сколько на легитимацию силы в форме права, на управление человеческим поведением посредством слова [ Марков 1993 ] . Перевод властных отношений в дискурсивную форму означает, что сила проявляет себя в праве говорить и в праве лишать этой возможности других. Лишение слова является одним из проявлений речевой агрессии, которая, как известно, является сублимацией агрессии физической [ Лоренц 1990 ] . М. Фуко к числу наиболее распространенных средств контроля над дискурсом относит процедуры исключения, самой очевидной из которых является запрет («говорить можно не все, говорить можно не обо всем и не при любых обстоятельствах, и, наконец, не всякому можно говорить о чем угодно») [ Фуко 1996 : 51 ].

Дж. Дайамонд рассматривает власть как понятие одновременно политическое и риторическое: эффективность власти проявляется в способности индивида одержать верх в споре, переключить разговор на новую тему, вести дискуссию, осуществлять реформы, изменять существующие структуры, побеждать на выборах и т. д. [Diamond 1996: 13].

Власть в дискурсе выражается в том, что обладающие властным статусом коммуниканты контролируют и ограничивают коммуникативный вклад нижестоящего участника (не обладающего властью). Существуют три типа ограничений: 1) ограничения на содержание коммуникации; 2) ограничения на типы социальных отношений, в которые могут вступать участники коммуникации; 3) ограничения на позиции субъекта коммуникации. [Fairclough 1989]. Так, в частности, в институциональных видах дискурса существуют определенные жанры, доступные только для «профессионалов», субъектом которых не может быть «клиент»: проповедь для священника, лекция для преподавателя, приговор для судьи и т. д. Таковым является большинство первичных жанров политического дискурса (публичная речь политика, парламентские дебаты, партийная программа, все жанры президентской риторики и др.).

Говоря о языке как инструменте социальной власти, Р. Блакар имеет в виду присущую языку способность к структурированию и воздействию (выбор выражений, осуществляемый отправителем сообщения, воздействует на понимание получателя). Он выделяет шесть «инструментов власти», имеющихся в распоряжении отправителя: 1) выбор слов и выражений; 2) создание (новых) слов и выражений; 3) выбор грамматической формы; 4) выбор последовательности; 5) использование суперсегментных признаков; 6) выбор имплицитных предпосылок.

Р. Блакар подчеркивает, что люди с разными позициями власти имеют разные возможности по овладению более продвинутыми лингвистическими механизмами, и тот, кому принадлежит наибольшая власть, может в любой момент решить, какой лингвистический механизм наиболее полезен, следовательно, тот, кто обладает властью (положением), в значительной степени определяет употребление и значение слов и выражений (инструментов власти) [ Блакар 1987 ] .

Если Р. Блакар к инструментам языковой власти относит операции с конкретными языковыми единицами разных уровней, то Р Барт, говоря о трех типах дискурсивного оружия, имеет в виду общериторические качества речи: 1) демонстрация аргументов, приемов защиты и нападения; 2) исключение соперника из диалога сильных, монологизация дискурса; 3) структурная завершенность, четкость, императивность речи [ Барт 1994: 538 ].

Д. Таннен связывает понятие власти в дискурсе с контролем. Она полагает, однако, что неверно приписывать власть исключительно одному источнику ( т.е. представлять дело так, что у одного власть есть, а у другого – нет), что существуют разнообразные виды власти и влияния, которые связаны с исполнением людьми различных ролей, и это разные виды власти, которые проявляются по-разному. С одной стороны, как проявление власти можно рассматривать контроль над темой разговора, но с другой – поддержка топика, предложенного собеседником, может быть интерпретирована как проявление власти «внимательно слушающего собеседника» (attention-giver)” [ Tannen 1987 ].

Аналогично прерывание собеседника может рассматриваться как проявление власти, но, с другой стороны, прерывание может быть использовано как последняя отчаянная попытка привлечь к себе внимание – и в этом случае прерывание является манифестацией статусной слабости (например, дети нередко пытаются привлечь внимание родителей, занятых серьезным разговором, пытаясь прервать его).

Рассуждая об элементах власти с позиций этологии, Э. Канетти выделяет ряд коммуникативных действий, в которых проявляется власть. К их числу относятся некоторые речевые акты (вопрос, приказ, осуждение) и некоторые формы манипуляций с информацией (молчание, сохранение тайны). В негативном суждении проявляется власть судьи, в вопросе – власть дознавателя; приказ является сублимацией биологического приказа к бегству под угрозой смерти или добровольного рабства зависимого существа, получающего пищу из рук «хозяина» [Канетти 1999].

Поскольку «всякий вопрос есть вторжение»; «применяемый как средство власти, он врезается как нож в тело того, кому задан» [Канетти 1999: 124]) , то свобода личности в значительной мере состоит в защищенности от вопросов, в умении ответить вопросом на вопрос.

Молчание предполагает точное знание того, что умалчивается, поэтому власть выступает, в том числе, и как монополия на информацию. Э. Канетти верно подчеркивает значимость момента выбора как способа проявления власти: «Поскольку невозможно молчать всегда, приходится делать выбор между тем, что можно сказать, и тем, о чем следует умолчать» [Канетти 1999: 135] . Действительно, лишь обладающий властью имеет право делать выбор, в том числе выбор из нескольких коммуникативных возможностей.

Монополия на информацию, обладание знанием, недоступным для других, изначально, с самых древних человеческих сообществ, составляло привилегию властителей – жрецов, колдунов, шаманов, врачевателей. Некий налет таинственности всегда идет на пользу власти. «Тайна лежит в сокровеннейшем ядре власти. <...> К сфере власти относится неравное распределение просматриваемости. Властвующий должен видеть все насквозь, но не позволять смотреть в себя. Сам он остается закрытым. Его настроения и намерения никому не дано знать» [Канетти 1999: 133 ] .

Поскольку язык политики – это язык власти (и следовательно – язык посвященных) и, в то же время – специальный язык для профессиональных целей, то естественно задать вопрос: в какой степени языку политики присуща такая характеристика специальных языков, как тайноречие или эзотеричность?

Р. Водак отмечает, что политический язык находится как бы между двумя полюсами – функционально обусловленным специальным языком и жаргоном определенной группы со свойственной ей идеологией. Поэтому политический язык «должен выполнять противоречивые функции: быть доступным для понимания (в соответствии с задачами пропаганды) и ориентированным на определенную группу (по историческим и социальным причинам). Последнее часто противоречит доступности политического языка» [ Водак 1997: 24 ] .

Корпоративная функция, присущая любому специальному подъязыку и жаргону, реализуется во многом благодаря тому, что специальный язык обычно непонятен для непосвященных, так как предназначен «для внутреннего употребления», для объединения «своих» и исключения «чужаков». Однако, поскольку специфику функционирования языка политики составляет массовость аудитории, и с политической терминологией каждый из нас сталкивается практически ежедневно, то неизбежно происходит деспециализация политических терминов. В результате этот специальный язык оказывается лишен свойства тайноречия. (Достаточно вспомнить, как быстро в повседневный язык жителей России вошли «таинственные» слова ваучер, консенсус, импичмент ). Тем не менее, этот «недостаток» компенсируется за счет такого свойства политического языка, как его расплывчатость, смысловая неопределенность.

Таким образом, неопределенность выступает в качестве специфического для политического (профессионального) подъязыка проявления эзотеричности. Политики, как никто другой, умеют уходить от прямого ответа на вопрос, умеют сказать много и при этом не сказать ничего. Специфика тайноречия в политическом дискурсе заключается не в языке политики как таковом, большинство знаков которого является широко известными, общедоступными для понимания, а в самом характере общения. Другими словами, эзотеричность политического дискурса – не семантическая, а прагматическая характеристика.

Ю.В. Рождественский, анализируя риторические особенности текстов информатики, выделяет свойство криптографичности, заключающееся в том, что «система не должна давать абоненту ту информацию, которой он не вправе располагать» [ Рождественский 1997: 594 ] . Для политического дискурса этот принцип верен лишь в области государственной тайны, а в остальном его можно переформулировать следующим образом: властные структуры в своих интересах (в целях политического самосохранения) ограничивают «клиенту» доступ к информации, которой он вправе располагать. Итак, еще раз подчеркнем. что право на монопольное обладание информации – это одно из дискурсивных проявлений власти.

В заключение рассмотрим понятие коммуникативного лидерства, с которым, на наш взгляд, непосредственно связан а власть в дискурсе.

В.В. Богданов раскрывает понятие коммуникативного лидерства через три типа доминаций, повышающих коммуникативный статус говорящего – энциклопедическая, лингвистическая и интерактивная доминация: «Коммуникативный лидер – это человек, который обладает нетривиальной информацией с точки зрения данной ситуации общения, умеет выразить эту информацию в наилучшей форме и довести ее до сведения адресата посредством оптимального языкового контакта» [ Богданов 1990: 30 ] . Более высокий социально-административный статус коммуниканта имеет тенденцию вызывать повышение и его коммуникативного статуса, но из этого вовсе не следует, что лицо, занимающее более высокое административное положение в обществе, непременно обладает и более высокой энциклопедической, лингвистической и интерактивной компетенцией.

В идеале социально-административное и коммуникативное лидерство должны совпадать, т.е. хороший политик, безусловно, должен быть коммуникативным лидером. Энциклопедическая компетенция политика проявляется в глубоком знании и понимании текущей политической ситуации, предшествующих процессов и исторического фона, а также в способности дать адекватное вербальное описание данной предметной области. Кроме того, понятие энциклопедической компетенции политика подразумевает и высокой общекультурный уровень, который в речи проявляется в апелляциях к прецедентным текстам данной культуры.

Лингвистическая компетенция политика заключается в использовании престижной формы языка (т.е. в полном владении литературной нормой), во владении паремиологическим фондом и образными средствами языка и умении их адекватно использовать.

Интерактивная компетенция политика состоит в соблюдении постулатов общения (с учетом их специфики в политическом дискурсе), а также во владении приемами фасцинации, которые позволяют установить оптимальный контакт с аудиторией.

Связь феномена коммуникативного лидерства с высоким статусом в социальной иерархии (социальным лидерством, властью) уходит корнями в генезис языка. На изначально «командную» роль слова указывают этологи и психологи. Сигналы лидеров примитивных групп обладали особой значимостью для особей низшего ранга. «Интересный в этой связи факт приводит Ф. Фолсом: даже в наши дни народы, которые живут охотой – таких, правда, на свете осталось совсем не много, – часто называют главу семьи просто «говорящий» [ Якушин 1984 ] .

Слово первоначально было командой для других (первые протовысказывания, предположительно, были императивами). Первобытный лидер воспринимается как источник авторитетного Слова, значимого для выживания группы. Не удивительно, что слово лидера и в современном обществе обладает особым авторитетом и служит мощным инструментом социальной власти.

**Список литературы**

Апресян Р.Г. Сила и насилие слова // Человек. 1997. № 5. С. 133–137.

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1994. 616 с.

Бенвенист Э. Словарь индоевропейских социальных терминов: Пер. с фр. М.: Прогресс–Универс, 1995. 456 с.

Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти // Язык и моделирование социального взаимодействия. М.: Прогресс, 1987. С. 88–120.

Богданов В.В. Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство // Язык, дискурс и личность. Тверь: Изд-во Твер. ун-та, 1990. С. 26–31.

Водак Р . Язык. Дискурс. Политика / Пер. с англ. и нем. Волгоград: Перемена, 1997. 139с.

Канетти Э. Элементы власти // Психология и психоанализ власти. Т.1. Хрестоматия. – Самара: Изд. Дом. «Бахрах», 1999. С.120-168.

Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. Вильнюс: Изд-во Вильнюс. ун-та, 1995. 232 с.

Лоренц К. Агрессия (так называемое «зло»). М.: Прогресс, Универс, 1994. 272 с.

Марков Б.В. Философия и аргументация // Речевое общение и аргументация. Вып. 1. СПб.: Экополис и культура, 1993. С. 76–85.

Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1997. 600 с.

Фуко М. Воля к истине: по сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет / Пер. с франц. М.: Касталь,1996. 448 с.

Якушин Б.В. Гипотезы о происхождении языка. М.: Наука, 1984. 136 с.

Bolinger D. Language – the Loaded Weapon: the Use and Abuse of Language Today. – London and New York: Longman, 1980. – 214 p.

Diamond J. Status and Power in Verbal Interaction: a Study of Discourse in a Close-knit Social Network. – Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publ. Co., 1996. – 178 p.

Fairclough N. Language and Power. – London: Longman, 1989. - 259 p.

Fowler Language as social practice // Handbook of Discourse Analysis. Vol.4. London, 1985. P.61–83.

Hodge R., Kress G. Language as Ideology. – New York: Routledge, 1993. – 230 p.

Tannen D. Remarks on Discourse and Power // Power Through Discourse. – Norwood, N. J.: Ablex Publishing Corporation, 1987. – P. 3–10.